Чернышевский Н. Г. Бальзак // Чернышевский Н. Г. Полное собрание

Unknown Author

SHOUT
SHARE
IT

-
- notes
    - 1

БАЛЬЗАК

В последних книжках «Revue de Paris» мы нашли прекрасную биографию Бальзака, написанную сестрою знаменитого романиста, Лаурою Сюрвиль, урожденною Бальзак Особенно интересны эти воспоминания, согретые истинною родственною любовью, потому, что изображают нам в Бальзаке именно те основные черты характера, которые обнаруживаются только в семейном кругу, только перед самыми близкими друзьями. Бальзак, подобно почти всем талантливым писателям, имел много завистников и врагов, был предметом ожесточенной клеветы. Люди, имеющие свои расчет в том, чтобы чернить характеры людей, таланта которых не могут помрачить в глазах публики, кричали о Бальзаке, как о легкомысленном и холодном эгоисте; читатели пасквилей, не знавшие личности, против которой направлена была злоба и не отгадывавшие низких причин, направлявших ее, часто верили этим пустым выдумкам. Нам чрезвычайно приятно было в вое-поминаниях сестры Ьальзака наити новое подтверждение той

w

истины, которая известна по опыту каждому, кого случаи ставил в близкие отношения с истинно талантливыми писателями: обыкновенно, сердце этих людей таково, что заставляет или любить, или уважать их как людей: поэзия едва ли может жить в дурном сердце. Г-жа Сюрвиль не скрывает слабостей своего брата: она говорит о них с благородною откровенностью, справедливо будучи уверена, что прекрасными качествами души ее брата слишком достаточно вознаграждались эти ничтожные недостатки его. Но в каждой строке ее воспоминаний вы видите отражение той нежной дружбы к покойному брату, которую внушают к себе только люди истинно превосходные по душе; каждый факт убеждает вас в том, что Бальзак-человек заслуживал такого же уважения, как и Бальзак-писатель. О жизни Бальзака у нас почти ничего не было писано; от времени до времени повторялись только жалкие анекдоты о его причудах, о том, что у него была целая коллекция тростей, о том, как он тратил деньги на фантасти-

ческое украшение своего загородного домика в Жарди, и т. п.

Поэтому переводим биографию, написанную г-жею Сюрвиль, опуская некоторые эпизоды, служащие только ответом на разные выходки французских фельетонистов: выходки эти почти неизвестны нашей публике, потому и рассуждения по поводу их имели бы у нас мало интереса.

В заключение биографии, мы, для дополнения и поверки той характеристики, которую представляет сестра, приводим относящийся к Бальзаку отрывок из мемуаров г-жи Дюдеван, дружбу которой Бальзак высоко ценил, как говорит его сестра.

Брат мой (начинается рассказ г-жи Сюрвиль) родился в Туре 16 мая 1799 года, в день святого Гонория. Это имя понравилось моему отцу, и. хотя оно не было употребительно в нашей фамилии, его он дал сыну.

Матушка боялась потерять сына; если сама будет кормить грудью, потому что таким образом уже умер у нее первый ребенок. Маленького Оноре отдали кормилице, которая жила за городом в большом саду. Батюшка и матушка были так довольны заботливостью этой женщины о их сыне, что поручили потом ей кормить и меня, оставив у нее на воспитании брата. Мы с ним возвратились в отцовский дом, когда ему было года четыре.

Дети не играли в то время такой важной роли, какая предоставляется им ныне в семействе: их не выводили на сцену, оставляя расти как случится, заботясь больше всего о том только, чтобы они были послушны к родителям. М-11е Делаге, наша гувернантка, быть может, уже слишком ревностно заботилась об этом, так что сверх послушания внушала нам и страх. Брат долго помнил, как мы трусили, как нас поутру водили поздороваться, а вечером проститься с матушкой.

Оноре был прелестным ребенком: его веселость, его улыбающийся хорошенький ротик, большие карие глаза, светлые и кроткие, его высокий лоб, густые черные волосы заставляли всех прохожих любоваться на него, когда нас водили гулять.

От семейства зависит характер и будущая судьба человека; потому скажу несколько слов о наших родителях.

Отец мой, родившийся в 1746 году, был адвокатом и во время революции имел случай спасти нескольких своих друзей. Эти услуги подвергли опасности его самого, и один из членов конвента, его друг, поспешил удалить его с глаз Робеспьера, послав устроивать провиантские магазины для северной армии. Занимая место провиантмейстера, отец мой прожил 19 лет в Туре и в мае 1797 года женился на дочери одного из своих начальников. Кроме провиантской части, он управлял госпиталем, где делал много добра.

В характере моего отца было что-то напоминавшее Монтаия и

вместе Рабле. Была у него и задушевная забота — здоровье: он старался так устроить свою жизнь, чтобы прожить на свете как можно долее. Учеными соображениями дошел он до того убеждения, что человек должен жить не менее ста лет, а если можно, то и более, и он всячески заботился, чтобы прожить более. Отцовская нежность усиливала в нем расположение к долговечности. Когда он еще не думал жениться, он отдал большую часть своего состояния в общество застрахования пожизненных доходов, компании Лафаржа. Революция уменьшила остальное его состояние; но крепкое здоровье давало ему надежду, что он переживет всех других акционеров и тогда получит при закрытии кассы общества огромную сумму. Мысль эта до такой степени вкоренилась в нем, что он беспрестанно тверди\ детям: «Берегите эдо-ровье — ведь вам достанется несколько миллионов». При каждой потере денег он повторял: «Касса Лафаржа вознаградит все убытки».

Во всем он держал себя оригинально, так что странности его вошли в пословицу. Во всех болезнях человеческих были виноваты, по его словам, отцы, не знавшие правил физиологии. Идеи его об этом щекотливом предмете были очень забавны. «Я не хочу обнародовать их, — прибавлял он, расхаживая по комнате в шелковом шлафроке и с повязкою на голове, по той моде, какая была во время директории, — я не хочу обнародовать своих мыслей об этом: меня назвали бы чудаком (это прозвание его сердило), а дети попрежнему рождались бы чахоточные и слабые. Со времен Сервантеса, который убил странствующих рыцарей, ни одному философу не удалось исправить людей ни от какой вредной привычки».

Но он смеялся над людьми только тогда, когда не мог помочь им; а когда при накоплении больных открывалась в госпитале какая-нибудь эпидемия, он поселялся в госпитале безвыходно.

Память его, наблюдательность и находчивость в ответах были замечательны не менее его странностей. Через двадцать лет он помнил до слова асе, что ему говорили. Семидесяти лет, нечаянно встретив одного из товарищей своего детства, он стал свободно говорить с ним на провинциальном наречии, которого не слышал с четырнадцатилетнего возраста. Однажды, когда при нем читали газетную статью, написанную столетним стариком, он с восторгом сказал: «Вот, наверное, этот человек жил умно и не растратил своих сил излишествами, как делает глупая молодость». Ему возразили, что столетний мудрец каждый день напивается до пьяна. «Ну, что ж, — отвечал он, ни мало не смутясь, — он сократил свою жизнь — вот и все».

Читатель простит эти подробности. В Китае отцам даются

титулы за выслуги сыновей; Бальзак и во Франции должен сохранить от забвения память своего отца.

Когда Оноре стал понимать батюшку, батюшка был прекрасным и еще свежим стариком, ласковым, снисходительным к молодости, рассуждавшим обо всем очень здраво, несмотря на свои странности, стариком добрым и мягким, который делал счастливыми всех окружавших его. Его высокая образованность, солидный разговор, его любопытные рассказы принесли большую пользу сыну, в сочинениях которого часто отражались замечания отца.

Матушка моя, бывшая летами гораздо моложе своего мужа, была женщина чрезвычайно живого ума, неутомимой деятельности, решительного характера. Мужа и детей любила она до самоотвержения.

В моем брате соединялись качества его отца и матери. От отца он наследовал оригинальность, память, наблюдательность, от матери — воображение и деятельность, от обоих вместе — силу и доброту характера.

В детстве все предсказывало моему брату блестящую будущность. Матушка была из богатого семейства, наследство которого должно было перейти к ней; у отца тоже было значительное состояние: мы жили богато.

Я была двумя годами моложе Оноре. Мы воспитывались вместе и на всю жизнь остались чрезвычайно дружны. Я помню, с какою торопливостью он подбегал ко мне, чтобы помочь взойти на лестницу, когда я была маленьким ребенком; помню, как часто уговаривал он меня позволить ему взять на себя какой-нибудь мой детский проступок, чтобы перенести за меня наказание.

На седьмом году его отдали в Вандомский коллегиум, где он учился семь лет. Каникул в атом коллегиуме не было, и брат не приезжал домой ни разу; но мы ездили к нему каждый год на пасху. Когда ему было четырнадцать лет, директор коллегиума прислал матушке письмо, в котором просил ее как можно скорее приехать к сыну. Оноре был одержим странною болезнию, похожею на лунатизм: он как будто бы спал с открытыми глазами, часто не слыхал, что ему говорят, и чрезвычайно похудел. С прилежными учениками все это часто случается от излишних занятий; но брат

24*

Электронное научное издание
«Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

мой считался лентяем и директор не мог понять его болезни. Но дело в том, что он день и ночь пожирал книги, которые тайком брал из библиотеки коллегиума. Матушка взяла его домой для поправления здоровья, и, действительно, брат скоро поправился.

После того он уже не возвращался в пансион и посещал классы коллегиума как вольноприходящий ученик. В то время он уже начинал говорить, что составит славу своему имени, и за это хвастовство над ним постоянно смеялись. Он не сердился, а тоже смеялся вместе с другими. Мечты его казались родным совершенно напрасны: в нем видели мальчика без особенных способностей, который довольно плохо учится по-латыни и по-гречески. «Ты сам не понимаешь, Оноре, о чем говоришь», — часто повторяла ему матушка. Он вместо всякого ответа улыбался своею добродушною и вместе хитрою улыбкою.

В конце 1814 года батюшка был переведен провиантмейстером в Париж. Парижские профессора также не замечали в Оноре ничего особенного. На восемнадцатом году он начал слушать курсы в Сорбонне. Я помню, с каким энтузиазмом говорил он о лекциях Вильмена, Гизо, Кузена, Он много работал в публичных библиотеках и, между прочим, тогда уже имел страсть собирать редкие книги, из которых потом составилась у него замечательная библиотека.

Теперь на том доме, в котором он родился, сделана надпись в честь его; но когда брату было семнадцать, даже девятнадцать лет, наши родные не поверили бы, если бы кто-нибудь предсказал им это. Замечательно было, однако ж, то внимание, с которым он слушал умных людей и серьезные разговоры. Он чрезвычайно любил толковать с бедной старушкой, которой матушка дала приют в нашем доме и которая была когда-то приятельницею Бомарше. Брат заставлял ее рассказывать об этом знаменитом человеке и узнал жизнь его так хорошо, что мог потом сообщить много материалов для биографии, написанной Ломени [1].

Батюшка хотел сделать сына юристом. По окончании курса Оноре поступил в контору нотариуса Мервиля, потом через полтора года перешел в контору г. Пасе, где провел столько же времени. Это обстоятельство объясняет, почему в сочинениях брата видно такое знание гражданских законов. У одного из парижских адвокатов я увидела роман брата «Бирото», стоящим на одной полке с юридическими сборниками, и он уверял меня, что часто справляется с этою книгою в делах о банкротстве.

Брат мой учился очень прилежно, занимался в конторе, готовился к дальнейшим экзаменам; но память у него была так хороша, что он находил еще время по вечерам играть с бабушкой

в бостон или вист, и бабушка нарочно проигрывала несколько денег, которые он тотчас же употреблял на редкие книги. Он всегда любил эти игры, напоминавшие ему о бабушке, повторял, играя, ее любимые выражения и был в восторге, когда вспоминал какой-нибудь ее жест.

Иногда он провожал меня на бал, но однажды, упал в кадрили и отказался от танцев навсегда. Он дал себе слово блистать в обществе не теми талантами, как другие молодые люди, и сделаться простым зрителем балов, которые потом так верно описывал.

Двадцати одного года он выдержал окончательный экзамен, и тогда батюшка сообщил ему свои проекты относительно его будущности. Приняв их, Оноре скоро сделался бы богачом: но тогда мысли его были обращены не к деньгам.

Один из людей, спасенных батюшкою во время революции, был в Париже нотариусом. В благодарность отцу он хотел сделать Оноре своим помощником и через несколько лет передать ему контору, доставлявшую огромные доходы.

Электронное научное издание
«Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

Но Бальзаку, мечтавшему о литературной славе, сидеть над контрактами и купчими крепостями! Он наотрез сказал батюшке, что не согласится ни за что на свете.

После жаркого спора батюшка согласился дать ему два года отсрочки, чтобы он мог доказать свою способность к литературе.

В это самое время батюшка получил отставку, потерпел значительные убытки в двух коммерческих предприятиях и переехал жить на дачу, которую купил он в шести лье от Парижа.

Снисходительность моего отца к желанию брата все наши знакомые называли слабостью и осуждали.

«Зачем вы позволяете ему терять дорогое время? Может ли литература обеспечить его состояние? И есть ли в нем талант? Это очень сомнительно».

А что сказали бы они, если бы знали все мечты моего брата? Один из ближайших друзей батюшки говорил, что Оноре надо определить на службу, потому что *у* него хороший почерк: этого достоинства, при связях батюшки, было достаточно, чтобы повести брата вперед по службе.

Матушка думала, что, испытав нужду, Оноре скоро бросит свои затеи. Потому она наняла для него скромную комнату, поставила в ней кровать, стол и несколько стульев и назначила ему очень скудное содержание, которого было бы недостаточно для существования, если бы матушка не поручила старой

служанке, оставленной в парижском доме, доставлять брату то, в чем он будет нуждаться.

Вдруг перейти от роскошного образа жизни в одинокую мансарду и терпеть во всем недостаток — такая перемена была тяжела; но он не жаловался, утешаясь своими надеждами, которых не разрушили первые литературные неудачи. С того времени начинается наша переписка, теперь столь драгоценная для меня.

Прошу извинения за семейную болтовню, из которой состоят сообщаемые мною отрывки. Они писались для сестры и потому заслуживают снисхождения. Мне они кажутся интересными потому, что хорошо рисуют характер моего брата.

В первом письме, исчислив издержки, которых стоило ему обзаведение хозяйством (подробности эти, конечно, имели целью доказать матушке, что ему нужны деньги), он сообщает мне, что у него есть лакей.

«— Лакей? Ты завелся лакеем, брат?

— Да, я завелся лакеем. У него очень странное имя: Сам. И какой

ленивец, если бы ты знал. Господин его голодает, а он не подает ему кушать, не умеет даже защитить *своего* господина от ветра, который дует и в дверь и в окно, насвистывая будто на флейте, но не очень приятным тоном». •

Господин начинает делать выговоры лакею:

«— Сам!

— Чего изволите, сударь? .

— Посмотри, какая паутина в углу! муха так кричит, что не дает мне покою. А что это за пыль под кроватью! и посмотри, как загрязнились окна.

Лентяй-лакей смотрит и не трогается с места. Бранюсь я с ним, а все-таки не могу прогнать его».

Во втором письме говорит он о задуманных трудах: он готовит романы, комедии и трагедии. Из всех тогдашних проектов его я помню только комедию «Два философа». Они бранились друг с другом, презирали суету мира и гонялись за нею, но безуспешно и кончили тем, что, потерпев неудачу, мирились и вместе проклинали род человеческий. Рассказав о своих будущих произведениях, Оноре просит, чтобы я прислала ему то издание Тацита, которое есть у батюшки и которое он не может отыскать в парижских библиотеках. Вот отрывок из третьего письма:

«Ты требуешь от меня новостей, ко я ни с кем не вижусь и потому могу писать тебе только о самом себе.

Итак, вот новость.

Вспыхнул пожар в голове одного молодого человека. Пожарная команда не могла потушить огня. Поджигательницей была прекрасная дама, которую юноша не знает, но говорят, что дама эта живет близ моста искусств и называется oha — Славою.

Этот юноша, у которого горит голова, рассуждает следующим образом:

Есть у меня талант или нет его, все равно: мне придется терпеть много горя.

Если нет у меня таланта, пропал я, всю жизнь проведу в желаниях, которые не найдут удовлетворения, буду томиться жалкою завистью.

Если у меня есть талант, найдутся у меня враги, клеветники, и тогда г-же Славе придется много плакать».

Через несколько времени он пишет, что выбор его остановился на трагедии «Кромвель». Она будет первым его произведением. Теперь он занимается ею.

Целые месяцы посвящает он обработке этого сюжета. Стих плохо ему дается. Но он работает неутомимо; он уверен в том, что «Кромвель» прославит его.

Наконец, в апреле 1820 года он приехал к отцу с оконченною трагедиен). Он уверен в торжестве, он весь сияет, он желает, чтобы приглашены были несколько друзей присутствовать при чтении трагедии.

Друзья приезжают, чтение начинается, восторг чтеца мало-помалу остывает от всеобщего равнодушия, от скуки или сожаления, написанного на лице всех слушателей.

Я была из числа сожалевших. Тот самый приятель батюшки, который находил, что лучший талант брата — хороший почерк, и которого брат думал пристыдить своею трагедиею, без церемонии высказывает свое откровенное мнение о трагедии.

Оноре с жаром возражает, говорит противнику, что он не судья в этом деле; но другие слушатели выражают свое мнение: оно высказывается деликатнее, но все согласны, что трагедия очень плоха.

Батюшка в утешение сыну предлагает отдать «Кромвеля» на прочтение человеку, знающему толк в литературе. Сюрвиль, бывший тогда моим женихом, предлагает выбрать судьею профессора словесности Политехнической школы. Брат соглашается. Профессор, со вниманием прочитав трагедию, объявляет, что автор должен заниматься чем ему угодно, исключая литературы.

Оноре поражен в одном пункте, но не лишается надежды победить в других.

«Я не создан быть трагиком — вот и все», — говорит он и

берется снова за перо.

Но пятнадцать месяцев, которые он прожил в мансарде, так его истощили, что матушка не отпускает его в Париж, и он остается жить с семейством.

Тогда-то он написал в течение пяти лет более сорока томов, которые сам считает плохими опытами и печатает без своего имени: он не хочет компрометировать имя Бальзака, которое должно непременно сделаться славным.

Я не хочу указывать заглавия этих первых его произведений, потому что он не желал, чтобы публика их знала.

В семействе он был окружен изобилием: матушка о нем чрезвычайно заботилась; но он жалел о своей мансарде, о тишине, которая невозможна в многочисленном семействе, принимающем многочисленных знакомых. Вскоре после того я вышла замуж, и наша переписка возобновилась. Брат пишет гораздо более о матушке и об отце, нежели о себе. В этих письмах есть много портретов и сцен, которые потом узнавала я в его сочинениях. Он жалуется на то, что гости отнимают у него много времени, говорит, что ему нужно было бы только 1 500 франков в год и тогда он мог бы работать для славы, а теперь пишет дурные романы. Он постоянно говорит о славе, произведения свои судит очень строго: он пишет их только потому, что все-таки за них ему платят деньги. У него множество литературных проектов, у него множество надежд; он мечтает, как он женится, описывает, какова должна быть девушка, которую он полюбит, рассказывает, как счастливо он будет жить с этою воображаемою невестою. Часто находят на него минуты уныния; он приходит в отчаяние от того, что не приобрел еще ни славы, ни денег; но скоро он ободряется и продолжает мечтать. Между тем время идет, родные требуют, чтобы он выбрал себе определенную карьеру. Он должен на что-нибудь решиться. Это было в 1823 году. Брату уже двадцать пять лет.

Тут начинаются неудачи, которыми отравлена была вся его жизнь. Многие не знают, что брату моему нужно было не менее энергии и изобретательности для борьбы против житейских неудач, нежели для того, чтобы написать сочинения, которыми, как ни судить их, прославил он свое имя. Люди, хорошо знавшие его жизнь, удивляются тому, что этот человек имел силу, перенося столько неприятностей, столько сделать для славы. Если бы ему с самого начала дали 1500 франков, которые были нужны ему для обеспечения существования, от скольких неприятностей избавлен был бы он. Он был бы богат и счастлив.

Но, быть может, несчастиями и развился его талант? Будучи богат н доволен, сделался ли бы Бальзак таким проницательным

исследователем человеческой жизни, все тайны которой теперь обнаружил он?

Приезжая в Париж, Оноре останавливался в квартире, которая осталась за батюшкой. Тут он познакомился с одним из соседей, которому рассказал о своих делах и о необходимости выбрать себе какое-либо занятие, чтобы приобрести независимое положение в семействе. Сосед был деловой человек, посоветовал ему пуститься в промышленные предприятия и согласился дать взаймы денег. Вместе они решили, что Бальзаку надобно стать издателем. Так Бальзак и сделал. Ему принадлежит первая мысль о компактных изданиях, которые потом обогатили книгопродавцев. Он напечатал в одном томе сочинения Мольера н Лафонтена. Он очень торопился изданием, боясь, чтобы другие, воспользовавшись его мыслью, не предупредили его. Но издание это осталось не распроданным, потому что книгопродавцы по обыкновению не хотели помочь человеку, который вступал в соперничество с ними. Они отказались брать его издания. Денег у брата нехватало на то, чтобы объявлять о своих книгах в газетах. Таким образом издание осталось совершенно неизвестно публике. В целый год не распродал он и двадцати экземпляров. Тогда, чтобы не платить денег за магазин, в котором бесполезно лежали книги, он продал свое издание на бумажную фабрику как негодную макулатуру.

Вместо выгоды первое его предприятие принесло ему убыток. Он запутался в долгах. Если бы он был поопытнее, конечно, он предусмотрел бы, что с незначительным капиталом нельзя начинать обширного дела.

Кредитор, желая доставить брату возможность уплатить долг, познакомил его с одним из своих родственников, содержателем типографии. Узнав эту промышленность, Оноре вздумал сделаться типографщиком. Он уже мечтал, что будет новым Ричардсоном, который разбогател от своей типографии и прославился своими романами. Кредитор был очень доволен таким намерением брата и очень одобрял его, обещаясь выпросить у батюшки необходимую сумму денег на заведение типографии. Он успел в этом. Батюшка выделил моему брату его часть из имения. Оноре нашел себе знающего дело фактора. Акциз за содержание типографии был в то время очень велик; заплатив 1500 франков правительству, купив шрифты, Оноре увидел, что у него остается очень мало денег. Брат не унывал, но ему нужно было торопиться, чтобы пустить в ход свою типографию. Он принимал все заказы, не разбирая, будет ли заказывающий в состоянии заплатить ему деньги в срок. Таким образом дела его начинают еще более запутываться.

Представляется случай купить словолитню очень дешево. Выгоды, приносимые этим заведением, так велики, что брат по совету опытных людей решается приобрести его. Он надеется соединить типографию со словолитнею, найти человека, который даст ему денег под залог заведений или поступит к нему в компанию; но такого человека не находится, потому что известно, что Оноре еще не уплатил долга за свое компактное издание. Брату угрожает банкротство. Он никогда не мог забыть мучительного положения, в котором тогда находился. Батюшка, видя его затруднительные обстоятельства, в течение некоторого времени поддерживает его деньгами, но потом, опасаясь, что сам разорится вместе с ним, отказывается помогать ему долее. Оноре старается убедить отца, что скоро типография и словолитня начнут приносить значительный доход: но батюшка уже нс верит ему. Тогда он ищет покупщиков. Содержатели типографий, зная затруднительность его положения, дают ему самую ничтожную цену. Он принужден, для избежания банкротства, продать одному из своих друзей типографию и словолитню за половину цены. Скоро этот друг разбогател, потому что расчеты Оноре были верны: словолитня начала приносить огромные доходы. Денег, полученных братом, едва хватило на то, чтобы уплатить долги, не терпевшие отлагательства: множество других долгов осталось на нем. Это было в конце 1827 года. Наш батюшка продал свою дачу около этого времени и переселился в Версаль, где я жила с мужем.

Оноре было тогда 29 лет. Он был обременен долгами; уплатить их могло только его перо, цены которого тогда никто не признавал. Все считали моего брата человеком, ни к чему не способным: друзьям казался он легкомысленным писателем ничтожных романов. Если бы он написал какую-нибудь толстую книгу непонятным ни для кого языком, конечно, все исполнились бы уважения к нему. Брат мой, постоянно огорчаемый несправедливостью окружавших его, считал унизительным для себя объяснять и защищать свои поступки, которые были осуждаемы людьми, не понимающими их. Он один шел к своей цели без ободрения и помощи, шел по дороге, усеянной тернием. А когда он достиг своей цели, конечно, все начали твердить наперерыв друг перед другом: «Какой талант! Я давно угадывал его!»

В то время он жил в Париже в улице Турно и писал первый роман, на котором решился выставить свое имя. Этот роман был

«Шуаны»[2]. Обремененный работою, он не бывал в Версале. Родные жаловались на то, что он забывал их. Я уведомила его об этом неудовольствии. Письмо мое было им получено, вероятно, в горькую минуту, потому что он, обыкновенно терпеливый и кроткий, отвечает мне с досадою:

«Письмо твое отравило у меня два дня и две ночи. Я обдумывал свое оправдание против каждого пункта жалоб в роде записки Мирабо по делу с отцом. Эти мысли уже начали меня одушевлять; но я бросаю свое оправдание: мне некогда оправдываться, *сестра,* да и не в чем оправдываться.

Меня упрекают в том, что я роскошно меблировал свою комнату; но мебель эта перевезена мною с прежней квартиры, а не куплена теперь. Я так мало дорожу ею, что если меня посадят в тюрьму за долги, то я буду очень рад: дешевле будет жить.

Посылать письма, ездить к вам в омнибусе, — все это издержки, на которые недостает у меня денег. Я не выхожу из комнаты, потому что берегу платье и обувь. Ясно ли это?

Не принуждайте же меня ездить к вам; не требуйте, чтобы я посещал наших парижских знакомых: визиты для меня невозможны; не забывайте, что единственное мое богатство — время и труд, и что у меня нет денег на самые ничтожные и необходимые расходы.

Если бы вы подумали о том, что я по необходимости не выпускаю из рук пера, не стали бы вы требовать от меня писем.

Да и что я стану вам писать, когда голова утомлена, а сердце измучено? Я только огорчил бы вас своими письмами. Я должен еще две недели работать над «Шуанами». До тех пор *не ждите от* меня известий.

Электронное научное издание

< Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

Не обвиняй меня ни в чем, сестра, Ты убьешь меня этим. Если батюшка был бы нездоров, он, конечно, уведомил бы меня. Ты знаешь, что тогда я поскакал бы а Версаль, несмотря ни на какие препятствия.

Мне надобно иметь средства для жизни, сестра, надобно работать, чтобы расплатиться со всеми».

Наконец явились «Шуаны». Роман этот, несмотря на все свои недостатки, обнаруживал в авторе столько таланта, что привлек внимание публики и газет. Ободренный первым успехом, брат с новым жаром принимается за работу.

Он пишет «Екатерину Медичи». Опять он не выходит из комнаты и не переписывается с нами, опять родные жалуются на него, я опять уведомляю его об этом. На этот раз он отвечает мне более веселым тоном:

«Перечитывая ваши выговоры, мадам, вижу, что нужно сообщить вам некоторые сведения о бедном преступнике.

Ваш Оноре, милая сестра, все еще по уши в долгах, без сантима в кармане; бывают минуты, когда готов сен разбить себе голову об стену, хотя и говорят, что у него нет головы.

Теперь он сидит в своей комнате и ведет убийственную битву с дестью бумаги, которую должен победить, покрыв ее чернилами так, чтобы возрадовался его карман.

Твоего брата называют беззаботным и холодным ветрeником. Не верь тому, сестра: он очень добр, у него прекрасное сердце, он готов оказать всевозможные услуги каждому, хотя и не может делать визитов, потому что сапожник перестал верить ему в долг».

Он очень страдал в это время. И если его комната была хорошо меблирована, так это потому, что он хорошо знал Париж. «Если бы у меня в комнате не было мебели, — говорил он, — мне бы не дали ничего за мои романы». Роскошь, за пристрастие к которой его столько упрекали, была для него средством не отдавать своих сочинений за бесценок. Притом, надобно сказать, что слухи об этой роскоши были очень преувеличены.

Увлеченный Вальтер-Скоттом, он хотел сначала посвятить себя историческим романам. «Шуаны», «Екатерина Медичи» были следствием этого намерения. Но потом он перешел к изображению современных нравов. Он называл свои сочинения этюдами нравов и разделил их на несколько серий: сцены частной жизни, деревенские сцены, провинциальные сцены, парижские сцены и проч. Когда в 1833 году пришла ему мысль связать все эти рассказы, так чтобы они обрисовали одну полную картину всего общества,, он пришел в совершенный восторг от этой идеи. Он вбежал в свою комнату, размахивая своею тростью, напевая веселый марш, и закричал: «Поздравь меня, я готовлюсь сделаться гением!» Он рассказал нам свой план, который пугал его самого своею громадностью, и потом начал ходить по комнате. Лицо его сияло восторгом.

— О как это будет хорошо, если только я успею исполнить свою мысль. Пусть близорукие люди теперь называют меня сказочником. Я вперед наслаждаюсь их изумлением, когда соединятся камни, которые я теперь обтесываю, и внезапно воздвигнется перед их глазами колоссальное здание.

Потом он сел и начал говорить о своих сочинениях, которые судил беспристрастно, несмотря на любовь, которую чувствовал ко всем своим детям, как называл он лица, действующие в его романах. Он рассказывал нам содержание задуманных произведений совершенно так, как будто говорил о

действительных событиях,

«— Знаете ли, на ком женится Феликс Деванденес? Его невеста некто мадмуазель Гранвиль. Что же, это для него очень выгодная партия: Гран-вили люди богатые, и то, что рассказывает о них Бетфель, не более как пустая сплетня».

Как матери привязываются к самым жалким из своих детей, так мой брат имел слабость к тем своим сочинениям, которые имели менее успеха.

На другие, которые особенно хвалили, он даже досадовал, зачем они выставляются вперед к невыгоде его детей,

С 1827 до 1848 года мой брат напечатал девяносто семь романов и повестей, которые вместе составляют в компактном издании 10 816 страниц, то есть, по крайней мере, 30 000. страниц обыкновенного формата в восьмую долю. А между тем в компактное издание не вошли еще многие его статьи, помещенные в журналах и газетах, не вошли многие из его повестей и первые двенадцать романов, изданных им без подписи своего имени. Подробности о происхождении некоторых из его сочинений не будут, может быть, лишены интереса.

«Эпизод из времен терроризма» был ему рассказан самим действующим лицом этой страшной истории. Брату моему хотелось видеть палача Самсона, узнать, какие мысли образованы в душе этого человека его страшною обязанностью и его позорною жизнью. Директор парижских тюрем доставил ему это свидание. Однажды Оноре встретил у директора незнакомого гостя, человека с бледным, благородным и печальным лицом; по манерам, по серьезному разговору и обширной начитанности, которую незнакомец обнаружил в разговоре, брат мой принял его за какого-нибудь профессора. Этот ученый был Самсон. Узнав его имя, брат умел не выказать ни изумления, ни замешательства и склонил разговор к интересовавшим его предметам. Самсон рассказал ему об ужасных впечатлениях своей жизни. Смерть Людовика XVI оставила в нем навсегда страшные угрызения совести. (Самсон был роялист.) На другой день после казни он отслужил панихиду за упокой казненного. Быть может, это была единственная панихида, отслуженная в тот день по Людовике XVI [3].

Подобный разговор с Мартеном, знаменитым укротителем зверей, пересказан братом в повести, которая называется «Страсть в пустыне».

«Серафита», этот мистический роман, был внушен брату наклонностью матушки к сочинениям Сведенборга и других мистиков.

Брат много путешествовал: он был в Савойе, в Сардинии, в

Корсике, в Германии, в Италии, в Петербурге, в южной России, куда ездил два или три раза; я не считаю его разъездов по Франции. Он посещал все те места, в которых происходило действие его романов. Эти путешествия казались ему необходимыми для соблюдения верности в описаниях. Прощаясь с нами, он обыкновенно говорил: «Я еду в Алансон, в Гренобль, где живут г. Кормой, г. Бенесси...»

С 1827 до 1836 года брат мой жил только тем, что, уплачивая по одним векселям, выдавал тотчас же новые векселя. Были времена, когда долг его страшно возрастал от накопления процентов, так что брат отчаивался в возможности когда-нибудь расплатиться. Он работал столько, что удивлял книгопродавцев и наборщиков.

Но зато с какою радостью вымарывал он несколько цифр в страшном счете своих долгов, который всегда лежал у него на столе, чтобы возбуждать его трудолюбие!

«Когда же наконец после стольких трудов будут оставаться у меня деньги? — часто говорил он мне. — Первый су, который останется после уплаты долгов, я непременно обделаю рамкою и повешу на стене; он расскажет историю моей жизни».

Иногда он приходил ко мне унылый, изнуренный. Я старалась, как могла, ободрять его; но он, не дослушав моих слов, говорил умирающим голосом: «Не утешай меня, это бесполезно, моя жизнь погибла». И этот человек, жизнь которого погибла, начинал плачевным топом рассказывать мне о своих новых затруднениях, но скоро одушевлялся так, что говорил уже с жаром, и вдруг, вынимая из кармана корректуры, садился поправлять их, заключая рассказ печальным восклицанием в прежнем унылом тоне: «Я погибну, сестра!»

— Вздор! С такими сочинениями, как те, которые поправляешь ты, нельзя погибнуть.

Электронное научное издание
«Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

Он подымал голову, лицо его прояснялось.

— Правда твоя, клянусь, правда. Эти книги не Дадут погибнуть! и что же, разве слепой случай не может выручить Бальзака так же, как выручает стольких глупцов? Даже нетрудно и придумать такой случай. Быть может, вдруг один из моих друзей-миллионеров (ведь есть у меня такие друзья), не зная, куда девать ему свои деньги, вдруг придет ко мне и скажет: я знаю ваш огромный талант и затруднительное положение; вам нужна такая-то сумма, чтобы расплатиться с долгами; вот она, берите, не церемоньтесь, она не пропадет за вами: ваше перо

стоит миллионов... А ведь только и нужно, сестра.

Я всегда старалась выслушивать с полною доверчивостью эти фантазии, которые поддерживали его мужество.

Он принимался доказывать, что случай, которого он ждет, очень возможен.

— Ведь эти люди тратят же столько денег на пустые прихоти. Почему же не сделать из прихоти доброго дела? Ведь оно доставляет столько удовольствия! Ведь приятно будет думать ему: я спас Бальзака. Ведь у людей бывают иногда хорошие движения. Если бы я был миллионер, у меня были бы такие прихоти.

Убедив себя, он начинал ходить по комнате с веселыми жестами.

— Так Бальзак освобожден от оков! Теперь вы увидите, друзья и недруги, каково пойдет он.

Он шел прямо в Институт; а оттуда был уже один шаг до палагьГперов. И отчего не сделаться ему пером? Ведь сделались такой-то и такой-то. Потом он делался министром. Что тут необыкновенного? Подобные примеры бывали. Он, кажется, знает людей и жизнь, потому, кажется, он способен управлять людьми.

Министр начинал управлять Францисю; он открывал и исправлял злоупотребления— и как умно говорил он!—все в его министерстве и во Франции шло превосходно. Туг он вспоминал о банкире-приятеле, который вывел его из затруднительного положения и открыл дорогу к славе.

— Его ожидает прекрасная будущность; о нем будут говорить: этот человек понял Бальзака, дал ему денег под залог его таланта, проложил ему дорогу к заслуженным почестям. Что ж, это, кажется, порядочная честь!

С этих облаков он снова падал на землю, но мечты рассеяли, утешили его. Он поправлял корректуры, читал их нам с восхищением и уходил, смеясь сам над собою.

— Прощайте. Иду домой взглянуть, не ждет ли меня там мой банкир,— говорил он, добродушно смеясь;—а если и нет банкира, то есть на столе у меня работа, которая не оставит меня без денег.

Он постоянно искал средств освободиться от долгов, и эти мысли утомляли его не менее, нежели работа.

Однажды ему вздумалось, что он нашел новый материал, из которого можно делать бумагу. Материала этого было везде много, приобретать его было можно почти задаром. Брат был в восторге, фантазия его уже строила воздушные замки, и за каждым восторгом следовал период уныния, потому что опыты не удавались. К нему приходили утешать, воображая, что застанут

его печальным: но он опять уже сиял радостью.

— Ну, что твоя бумага?

— Бумага вздор, не в ней дело. Вообразите себе, римляне были очень плохие рудокопы: в руде, которую они обработали, осталось еще множество богатства. Ведь никому, кроме меня, не пришло это в голову. Члены Института, с которыми я советовался, согласны со мною. Я отправлюсь в Сардинию обозревать старые римские рудники.

— Ты едешь в Сардинию? где ж у тебя деньги?

— Денег не нужно: я буду ходить там пешком, с котомкой на плечах, будто нищий. Это лучше, потому что не нападут разбойники. Я все рассчитал; мне довольно будет 600 франков.

Электронное научное издание
«Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

Найдя 600 франков, он, действительно, отправился и писал из Марселя:

«Не беспокойся, матушка, и скажи Лауре, чтобы она ничего не опасалась за меня: денег у меня достанет, несмотря на мудрые опасения Лауры, Пять суток я просидел на империале. Руки у меня так распухли, что едва могу писать. Завтра, в среду, буду в Тулоне; послезавтра еду в Аяччио — там буду в пятницу; через три дня буду в Сардинии.

Начинаю сомневаться в успехе дела. Во всяком случае, убытки не велики: я издержал всего 10 франков. Теперь сижу в гостинице, грязной до невозможности; но это ничего; можно вымыться. Если не найду руды, несколько дней работы вознаградят весь убыток. Слава богу, перо дает мне порядочный доход.

Прощай, матушка, ты знаешь, я желаю богатства не столько для себя, сколько для близких Мне».

В Сардинии он встретился с разбойниками и рассказывал потом о них очень мило. «Они вообще прекрасные люди и сообщили мне все сведения, какие только были нужны. Надобно им отдать справедливость: они с первого раза поняли, что взять с меня нечего, и, кажется, сами готовы были дать мне денег».

Возвратясь в Аяччио без денег, он произвел восторг в молодежи, сказав свое имя. Все знали его романы. «Я уже составил себе славу в Корсике,— говорил он нам, — Какая чудная там молодежь! Прекрасная земля!»

Образчики руды, привезенные им, были переданы химикам. Довольно много' времени прошло, пока их исследовали. Целый год он жил надеждою на сардинское богатство, и через год, собрав несколько денег, поехал в Пиемонт заключить с

сардинским правительством контракт на разработку рудников. Но, слишком доверчивый по обыкновению, он рассказал по дороге свой проект одному генуэзцу. Следующее письмо объясняет, как генуэзец воспользовался словами брата.

«Милая сестра! Слишком долго было бы писать тебе обо всем в подробности, — напишу тебе кратко.

На дороге задержали меня хлопоты, по делам наших знакомых В***.

Они замешаны в каком-то политическом процессе. Без моего ходатайства пришлось бы им плохо. Но задержка эта совершенно расстроила мой проект. Генуэзец успел заключить с сардинским двором формальный контракт. Он получил миллион выгоды. Надобно было в прошлом году не терять времени.

Но у меня есть теперь другая мысль, еще лучше. По возвращении я переговорю о ней с твоим мужем. Надеюсь, что мое предприятие будет им одобрено. Кончаю письмо, Чернила и перья у меня такие, что писать нет возможности. Вероятно, австрийское правительство заботится об этом. До гаиданья».

Так за разочарованием у брата всегда являлась новая надежда. Обстоятельства не позволили ему во-время воспользоваться мыслью, о которой он упоминает в этом письме. Но она принесла другим людям огромные суммы. В октябре я получила от него следующее письмо:

«Сообщу тебе приятную *новость.* Вчера Жерар познакомил меня с тремя немецкими семействами. Он уверяет, что уже целый месяц искали случая познакомиться со мною и что за границею я пользуюсь славою (милая отчизна, как ты неблагодарна!). Они говорили мне: «Продолжайте итти но вашей дороге, и вы скоро будете главою европейской литературы». Слышишь ли, сестра, европейской литературы! Вот посмеялись бы мои парижские друзья,, если бы рассказать им это. Но я оставил этих добряков-немцев в .приятнрм заблуждении, что я вполне верю их словам, и, сказать тебе правду, рад *был бы* слушать их толки до самого рассвета. Нам, писателям, нужно ободрение. Я снова принялся за работу, ложусь в 6 часов, тотчас после обеда, сплю до полуночи. В полночь Огюст будит меня и подает чашку кофе; петом я работаю до 12 часов утра, а затем *отправляюсь в* типографию для моциона, отношу туда оригинал и читаю корректуры. В продолжение 12 часов много успеешь написать бумаги, и в месяц такой жизни успеваешь наработать довольно много. Бедное перо, как не иступится оно от такого труда! Ему нужно: прославить своего владельца, согласно предсказанию немцев, помочь ему расплатиться с долгами и доставить ему под старость кусок хлеба».

Вот еще письмо, относящееся также к 1833 году:

«Расскажу тебе приятные новости, мой дружочек сестра! Журналы платят мне более прежнего... хе, хе!

Верде говорит мне, что «Деревенский доктор» распродан в одну неделю... ха, ха!

Могу уплатить по векселям, которым кончается срок в ноябре и декабре... хо, хо!

Наконец перепечатывают мои прежние романы. Ecco sorella!

Стало быть, все идет отлично. Еще несколько усилий, и я восторжествую над всеми затруднениями при помощи слабого орудия — пера!

Эта мысль так радует меня, что я уже начинаю пускаться в разные проекты: выстрою себе в деревне дом, другой дом рядом выстрою для тебя с мужем; дома наши будут окружены садами; мы будем вместе есть фрукты с собственных деревьев... Хорошо ли?

Муж твой, которому я это все рассказывал, улыбался; он конечно, думал: неизвестно еще, когда-то у нас будет все это. Нужды нет: проекты ободряют дух, и, если только бог даст мне здоровья, все это исполнится».

«Серафита» вовлекла его в процесс с «Revue des deux Mondes». Я должна рассказать об этом деле не потому, чтобы хотела возобновлять старую вражду, но потому, что оно имело слишком большое влияние на жизнь моего брата. Он уже начинал торжествовать над всеми затруднениями, когда этот процесс лишил его содействия газет и журналов, возбудив против него ожесточенную вражду, и снова запутал его дела. «Серафита» печаталась в «Revue des deux Mondes», когда брат узнал, что она перепечатывается в Петербурге ранее, нежели является в Париже. Брат мой думал, *что* это делается без ведома редактора, и пошел предупредить его. Но редактор объявил, что он продал право печатать роман брата в Петербурге отдельным изданием. Брат мой удивляется такому поступку. Журналист говорит, что имел право так сделать, и не соглашается ни на какие уступки. Тогда брат принужден сказать, что вопрос этот решится судебным порядком; он чувствовал обязанность защищать права авторской собственности не только для своей выгоды, но и в пользу всех писателей.

Нужно было много решимости, чтобы начать этот процесс, потому что Оноре предвидел его вредные следствия для себя, даже в том случае, если бы суд решил дело в его пользу: «Revue» должно было сделаться враждебно ему. Но брат пренебрег денежною выгодою и начал процесс. Каково же было его удивление, когда он увидел, что другие литераторы являются

перед судом хвалить его противника. Оноре защищал их права. Он был жестоко оскорблен таким отступничеством. Справедливость его была очевидна: он выиграл процесс, но нажил себе много врагов. Газеты с ожесточением начали терзать его, и литературная вражда так непримирима, что не совершенно умолкла даже перед его гробом. Он, между тем, мало огорчался всеми этими нападениями, очень часто приносил нам читать те из написанных против него статей, в которых было особенно много жолчи.

— Посмотрите, посмотрите, говорил он, — как все они рвутся на меня.

Кричите, любезные враги, ваш крик — лучшая рекомендация моим сочинег ниям, Похвалы ваши усыпили бы публику, а ругательства ваши возбуждают ее внимание ко мне. Превосходно! Если .бы я был богат, можно было бы сказать, что я нанимаю их писать в таком тоне. ,

Мы не разделяли его понятий об этом и огорчались нападениями. -

— Как вы недальновидны!—говорил он. — Разве критика может сделать мои сочинения лучше или хуже, нежели они каковы на самом деле? Бремя возьмет свое: оно—великий судья. Раньше или позже пубдика уви-

Электронное научное издание
«Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

днт, с чьей стороны правда, и тогда брань обратится в пользу оскорбленного. „

Здесь я могу поместить письмо его к одному из друзей, которое покажет в характере моего брата новую черту.

«Милый Д**! Сестра сказала мне, что вы огорчены каким-то выражением, нечаянно сорвавшимся у меня с языка. Дурно вы меня знаете, если сомневаетесь в моей дружбе.

Восемнадцать лет тому назад, на пасху — помните ли?—шли мы с вами по Вандомской площади. Я был тогда еще очень молод, но предчувствовал свою будущность; вы сказали, что слава и богатство изменяют людей; я вам отвечал, что слава меня не изменит. Я не солгал тогда. Теперь все, с кем я некогда был дружен, все остаются моими друзьями; если бы вы навещали меня почаще, вы знали бы это. Если я и приобрел некоторую известность, то все-таки я остался попрежнему добрым малым. Во мне только развился эгоизм человека, обремененного работою; 16 часов в день работаю я над своим литературным памятником, и времени для друзей и родных у меня остается мало. Это для меня самое тяжелое самоотвержение. О том, что я совершенно

отказался от светских развлечений и наслаждений жизни, я не жалею нимало.

Я был четыре раза у вас и не заставал дома, потому оставляю вам эту записку, которая убедит вас в моих чувствах. Простите, такое долгое письмо для меня уже роскошь».

Если мой брат четыре раза ездил к этому господину, который жил очень далеко от его квартиры, только затем, чтобы уверить его, что он был обманут слухами о каком-то неосторожном выражении брата, то, конечно, брат мой не был холоден к дружбе.

В 1830 году брату предлагали выбрать его в депутаты. Письма его по этому случаю доказывают, что он основательно понимал политическое положение Франции. Люди, знавшие его в последние годы жизни, были убеждены в его политических способностях, и, быть может, с их мнением согласятся читатели, припомнив многие из его сочинений.

Мысли его были всегда серьезны; что знал он, то знал он основательно; чего не знал, в незнании того откровенно поизнавался. Потому относительно некоторых подробностей своих романов он советовался со специальными учеными. которым публично высказывал свою благодарность за их участие.

Наконец, я думаю, что желание богатства, за которое его столько осуждали, оправдывается подробностями, которые я привела. Ему нужны были деньги прежде всего затем, чтобы избавиться от долгов. Всю жизнь он провел в борьбе с обстоятельствами и возвысился этою борьбою; потому я с гордостью рассказываю о его житейских невзгодах. Для полноты рассказа о неудачах моего брата, я должна еще упомянуть о двух журналах, которые хотел он основать: «Chronir|ue de Paris» и «Revue parisienne». Упрочив свою известность, он надеялся, что журнал, им основанный, может иметь успех. Одна из дам, знакомых матушке, дала ему денег на издержки печатания первых номеров «Хроники». Несколько известных литераторов, бывших его верными друзьями, в том числе Теофил Готье и Леон Гозлен, изъявили готовность помогать ему. Он пригласил также нескольких молодых людей, таланты которых предугадывал, между прочим Шарля Бернара. Но денег недостало, и «Хроника» должна была прекратиться.

Через несколько лет после этой неудачи он почти один написал три номера «Revue parisienne». Между прочим он поместил в них статьи о Стендале, Вальтер-Скотте и Купере, — статьи, которые, как меня уверяют, могут считаться образцами литературной критики.

Между тем нападения на него не только не прекращались, а, напротив, усиливались: литературные враги его, увидев

безуспешность прежних выходок, направляли свои батареи на новый пункт и стали обвинять брата в безнравственности. Им удалось ввести многих в заблуждение. Но какой писатель, кроме разве Беркена и Флориэна, не подвергался в свое время

упрекам за безнравственность? Это обыкновенная уловка врагов, когда онН ничего не могут сказать против литературных достоинств сочинения. Мольер был провозглашен безнравственнейшим человеком за «Тартюфа».

Эти обвинения были очень горьки для моего брата,

— Не хотят видеть общего смысла моих произведений, — говорил он, затем, чтобы удобнее было нападать на частности: говорят, что я вывожу иногда людей очень дурных; в моих романах действуют две или три тысячи лиц: неужели я должен был все их писать одною белою краской? И, притом, разве я изображаю людей не такими, каковы они действительно? Я пишу для мужчин, а не для девиц. Впрочем, я не должен жаловаться, участь всех замечательных людей одинакова — косить терновый венок.

Я изобразила характер моего брата таким, каков он был в наших глазах и каким он является в своей переписке. Какая сильная натура отразилась в этой переписке, о скольких трудах, надеждах и проектах говорит она, какой деятельный ум, какое неутомимое мужество обнаруживаются ею! Если душевные страдания наводили иногда на него уныние, как быстро он побеждал это чувство и с какою энергиею принимался снова за труд!

В свете Бальзак был не таков, каков в кругу семейства: он умел там скрывать свою скорбь и был блистателен.

Несчастия дали ему знание людей. Многие из выведенных им лиц. списаны с натуры. Зная сходство этих портретов, мы иногда боялись, чтобы люди, служившие для них оригиналом, не узнали себя в его снимках,

— Пустяки, — говорил он, пожимая своими широкими плечами — если бы нравственный портрет мой был написан с вандиковскою верностью, я не захотел бы узнать себя в этом портрете.

Он смело читал свои романы тем самым людям, характер которых изображал. Мы при этом трепетали от страха, решительно не понимая возможности не заметить сходства. А слушатели, с которых списаны портреты, очень спокойно догадывались, что портреты списаны с таких-то и таких-то их знакомцев.

Я думаю, что не было писателя, который бы так долго и заботливо обдумывал планы своих произведений, как мой брат.

Роман со всеми подробностями существовал в голове его прежде, нежели переносился на бумагу. Но вместе с тем он чрезвычайно заботился об отделке: он читал по 11 и 12 *корректур* каждого листа и на каждой корректуре делал многочисленные поправки.

Люди, знавшие Бальзака с колыбели до могилы, могут засвидетельствовать, что этот человек, столь проницательный и наблюдательный, был прост и доверчив, как ребенок, кроток даже в дни огорчений и отчаяния и так приветлив и снисходителен в дружеском кругу, что жить с ним было чрезвычайно приятно. В часы отдыха он походил на школьника, пользующегося каникулами, занимался цветами, восхищался бабочками, хохотал над каламбурами и завидовал счастливцам, которые умеют говорить их. Сам он, несмотря на все свои усилия, во всю жизнь придумал только два каламбура и смеялся над своею неспособностью.

Многие говорили о его огромном тщеславии, и оно действительно в нем было; но оно было так наивно, что нравилось своим простодушием, И как не простить восхищения своими произведениями человеку, который написал «Деревенского доктора», «Сельского священника» и столько других капитальных сочинений? Но не должно думать, чтобы самолюбие ослепляло его: ему можно было откровенно говорить о недостатках его произведений. Он сначала сердился, кричал, говорил дерзости; но если вы твердо стояли на своем, он начинал слушать вас, соглашался с тем, что было в ваших словах справедливого и наконец благодарил вас с полною искренностью. Он сам первый хохотал над своим тщеславием и позволял другим смеяться над этою слабостью. Талант ценил он во всех друзьях и врагах своих. Скольким начинающим авторам помог он, рекомендуя их произведения журналистам! Если его упрекали в эгоизме, эта ошибка происходила только оттого, что он,

постоянно обремененный работою, не мог тратить времени на пустые визиты; но качества его сердца известны его друзьям и молодым литераторам.

Прислуга чрезвычайно любила его, хотя он и не мог быть щедр и был очень беспокоен. Из друзей своих ои не изменил ни одному. Часто, увлекшись дружескою беседою, он проводил в разговоре часы, которые должен был употребить на работу; вдруг он вспоминал об этой необходимости и начинал читать себе выговоры: «Чудовище, лентяй! Тебе надобно было бы работать, а ты теряешь время». И он начинал тут же высчитывать, сколько денег потерял он от праздности. Счеты эти доходили до гигантских цифр. Вообще, моего брата любили все, кто хорошо знал его.

Жорж Санд, которая так благородно изобразила его характер и которую называл он милым своим братом Жоржем, ошиблась только в одном, говоря о нем. Напрасно она воображает его человеком суровых правил: он любил развлечения и имел успехи у женщин. Но он был чрезвычайно скромен в подобных случаях.

В одном из его писем я нахожу следующие слова о Жорже Санде:

«Она совершенно чужда мелочных слабостей и завистливости, которая омрачает характер почти всех нынешних писателей. Жорж Санд — благородный друг, и я рад советоваться с нею во всяком затруднительном случае; я нахожу в ней одни недостаток; она не умеет защищать своего мнения».

В различное время дня костюм его бывает то очень небрежен, то очень изящен.

Черты лица его переданы потомству бессмертным резцом Давида. Этот бюст сделан, когда брату моему было 44 года. Давид верно воспроизвел его прекрасный лоб, тонкие линии его лица, но мрамор не мог передать блеска его прекрасных, светившихся умом глаз.

Когда-нибудь можно будет мне подробнее рассказать *о* последних годах жизни моего брата. Наученный опытом, Бальзак потерял свою прежнюю живость, сделался серьезен, но ие стал мизантропом. Я расскажу и о последних днях его жизни, прерванной в полном развитии сил и таланта, когда *близко казалось ему счастие, когда ои, по крайней мере, мог насладиться* спокойствием, которого так долго и напрасно искал».

Отчетливо и ярко рисуется этим простым исполненным нежной любви рассказом личность писателя, который терпел так много и от житейских невзгод и от литературной вражды, но всегда сохранял юношескую мягкость характера, привлекательным образом соединяя простодушную доверчивость сердца с редкою проницательностью ума. Действительно, читатель этих воспоминаний чувствует, что знаменитый брат мог вполне заслуживать такую горячую любовь сестры и преданность людей, с которыми сближался; действительно, это был человек, в котором самые недостатки — наивное, но, должно признаться, справедливое самохвальство своими произведениями и разорительная страсть к роскошной обстановке своего домашнего быта — должны были казаться милыми. В самом деле, Бальзак привлекал к себе каждого из людей, способных ценить под забавными причудами доброе и прямое сердце. Вот как описывает его Жорж Санд, рассказывая о первом годе своей литературной жизни, еще до появления «Индианы».

«Один из моих друзей, знавший Бальзака, представил ему

меня не как провинциальную музу, а просто как почитательницу его таланта. В самом

деле, хотя Бальзак тогда еще не издал тех романов, которыми прославился, но я уже была поражена оригинальностью его таланта и видела в нем одного из корифеев литературы. Всем известно его наивное самохвальство, совершенно простительное по своей основательности; известна его страсть говорить о своих сочинениях, рассказывать содержание задуманных романов, читать их в рукописи или корректуре всем знакомым. Простодушный и добродушный, он у всех доспрашивался совета, не выслушивал этих советов или кричал и с упорным чувством собственного превосходства оспаривал их. Он говорил только о себе, вечно только о себе. Но однажды, будто забывшись, заговорил он о Рабле, — так удивительно хорошо, что по уходе его мы сказали друг другу: «Нет сомнения, ему суждена вся та слава, о которой он мечтает: он так хорошо понимает других писателей, что сам должен быть гением».

Тогда он жил в улице Кассини, в маленькой очень веселой квартире на антресолях. Потом, когда получил за свой роман «Peau ile Chagrin» хорошие деньги, он почувствовал было презрение к этой скромной квартире и наклонность покинуть антресоли, но, порассудив, удовольствовался тем, что меблировал комнату свою так, как в старину какая-нибудь маркиза украшала свой будуар, и вдруг пригласил нас кушать у него мороженое, любуясь на шелковые шпалеры и драпри с кружевною отделкою. Я от души хохотала тогда над этою фантазиею, не воображая, что любовь к роскоши обратится у него в серьезную страсть; тогда мне казалось это делом минутной прихоти. Я ошиблась: пустой каприз кокетливого воображения отравлял всю его жизнь, и для удовлетворения ему он часто лишал себя необходимейших удобств жизни. С того времени он всегда жил в нужде среди излишества и скорее готов был остаться без кофе и без тарелки супа, чем расстаться со своим китайским фарфором и серебряным сервизом.

Он должен был подвергаться баснословным неприятностям и трудам, чтобы только сохранить игрушки, восхищавшие его глаз; фантазер с золотыми мечтами, он воображением жил в волшебных замках; но вместе с тем человек упорной воли, он не боялся никакой борьбы и работы, чтобы осуществить хотя незначительную часть своих снов.

Соединяя ребячество дитяти с могуществом мужа, вечно опасаясь успехов какого-нибудь писаки и никогда не завидуя славе истинного таланта, искренний до скромности и самохвал до хвастливости, доверчивый к себе и другим, чрезвычайно

откровенный добряк, чуждый благоразумия, и, однако же, имевший силу совершенно подчиниться благоразумному решению, когда оно являлось в нем, знавший только одну страсть к славе и труду, Бальзак тогда уже был загадкою для всех тех, кого неутомимо мучил объяснениями своего характера и своих романов.

Я мало говорила с Бальзаком о своих литературных планах. Он не поверил бы им или не почел бы нужным подумать, способна ли я исполнить их. Я не советовалась с ним, потому что он сказал бы, что бережет свои советы для самого себя, и сказал бы это сколько по эгоистической хитрости, столько же и по искренней скромности. Последним словам не должно дивиться: под его наружным тщеславием действительно скрывалась своего рода скромность, как потом я удостоверилась, к приятному своему изумлению; много говорили о его эгоизме, но были у него также порывы преданности и благородства.

В обществе бывал он всегда очень мил; характер у него был веселый и светлый, я ни разу не видала его в скучном расположении духа. Несмотря на свою толстоту, он без отдыха взбегал ко мне на четвертый этаж, врывался в комнату, запыхавшись и не переводя духа, с хохотом начинал кричать и толковать, подбегал к моему столу, схватывал мои бумаги с намерением посмотреть мое сочинение, но тотчас забывая о том, что хотел посмотреть мое сочинение, принимался рассказывать о романе, который он теперь пишет, и толковал о нем без умолку».

Из рассказов сестры и г-жи Дюдеван, кажется, легко вывести верное заключение о характере знаменитого романиста: это был добряк и весельчак, с сильною наклонностью к роскоши, с пылкою жаждою славы, который упрямо накладывал на себя роль расчетливого человека, чтобы достичь славы и богатства; славы он действительно достиг, но богатства люди, подобные ему, не достигают никогда.

notes

1

Биография Бомарше, написанная Ломени, переведена в «Современнике» 1854 года.